

Вирджиния Вулф

Флаш



*Часть сборника
Миссис Дэллоуэй. На маяк.
Орландо. Романы*



Вирджиния Вулф Флаш

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=136004
Миссис Дэллоуэй: Эксмо; М.; 2011

Аннотация

«Всем известно, что род, к которому принадлежит герой нашего рассказа, – один из древнейших. Неудивительно поэтому, что и происхождение имени теряется в глубине веков. Много миллионов лет назад страна, ныне называемая Испанией, еще всходила на дрожжах творенья. Минули эпохи; появилась растительность; где есть растительность, по закону природы должны быть и кролики; где есть кролики, по воле Провидения должны появиться собаки. Тут все ясно и обсуждению не подлежит. Но стоит нам далее задаться вопросом, почему собаки, ловившие кроликов, были названы спаниелями, – и сразу возникают сомнения и трудности. Одни ученые утверждают, что, когда карфагеняне высадились в Испании, солдаты хором вскричали: «Спан, спан!» – ибо кролики прыскали из-под каждого куста. Страна кишела кроликами. И «спан» на карфагенском языке значит «кролик». И страну называли Испанией, то есть страной кроликов, а собак, которые не замедлили выскочить из кустов в погоне за кроликами, тотчас окрестили спаниелями, то есть кроличьими собаками...»

Содержание

Глава первая. НА ТРЕТЬЕЙ МИЛЕ	4
Глава вторая. В СПАЛЬНЕ	11
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Вирджиния Вулф

Флаш

Глава первая. НА ТРЕТЬЕЙ МИЛЕ

Всем известно, что род, к которому принадлежит герой нашего рассказа, – один из древнейших. Неудивительно поэтому, что и происхождение имени теряется в глубине веков. Много миллионов лет назад страна, ныне называемая Испанией, еще всходила на дрожжах творенья. Минули эпохи; появилась растительность; где есть растительность, по закону природы должны быть и кролики; где есть кролики, по воле Провидения должны появиться собаки. Тут все ясно и обсуждению не подлежит. Но стоит нам далее задаться вопросом, почему собаки, ловившие кроликов, были названы спаниелями, – и сразу возникают сомнения и трудности. Одни ученые утверждают, что, когда карфагеняне высадились в Испании, солдаты хором вскричали: «Спан, спан!» – ибо кролики прыскали из-под каждого куста. Страна кишела кроликами. И «спан» на карфагенском языке значит «кролик». И страну назвали Испанией, то есть страной кроликов, а собак, которые не замедлили выскочить из кустов в погоне за кроликами, тотчас окрестили спаниелями, то есть кроличьими собаками.

Тут бы многие и успокоились; но в интересах истины мы вынуждены добавить, что существует другое направление в науке, отстаивающее совершенно иной взгляд на вещи. Слово «Испания», утверждают ученые, принадлежащие к этому направлению, ничего общего не имеет с карфагенским словом «спан». Испания происходит от баскского слова *espana*, которое значит «граница», «край». А если так, то кроликов, кусты, собак, солдат – всю эту милую романтическую картину надо выкинуть из головы и просто признаться, что спаниели названы спаниелями потому, что Испания названа *Espana*. Относительно же третьей теории, согласно которой испанцы называют своих собак кривыми и скрюченными (слово *espana* допускает это толкование), подобно тому как возлюбленных называют обезьянами и образинами, намекая как раз на всем известные их совершенства, то столь поверхностное построение даже и не заслуживает сколько-нибудь серьезного разбора.

Минуя эти и еще многие теории, на которых не стоит здесь останавливаться, мы перейдем к Уэльсу в середине десятого века. Спаниель уже столетия назад ввезен сюда испанским семейством Эбхоров не то Айворов, как полагают многие, и, уже вне всяких сомнений, достиг высокого положения и чрезвычайно высоко ценился. «Королевский спаниель ценится в целый фунт», – записал Хауэлл Дха в своем своде законов. А если мы вспомним, сколько всяких вещей можно было купить за фунт в 948 году – сколько жен, рабов, коней, волов, индюшек и гусей, – мы убедимся, что спаниель тогда ценился чрезвычайно высоко. Он был приближен к королю. Его семейство достигло почестей куда раньше, чем семейства многих славных монархов. Он нежился во дворцах, покуда Плантагенеты, Тюдоры и Стюарты брели за чужими плугами по чужим бороздам. Задолго до того, как Говарды, Кавендиши и Расселы поднялись над безликой массой Смитов, Джонсов и Томкинов, семейство спаниелей было уже выделено и отмечено. Шли века, и главный ствол разделился на отдельные ветви. Постепенно, по мере развития английской истории, возникает не менее семи славных семейств спаниелей – кламберские, суссекские, блэкфилдские, норфолкские, ирландские, английские и кокер-спаниели; все они ведут свое начало от доисторического спаниеля, но обладают особыми качествами и, соответственно, претендуют на особые привилегии. О том, что к царствованию королевы Елизаветы уже выделилась собачья аристократия, свидетельствует сэр Филип Сидни: «...борзые, спаниели и гончие, – сообщает он, – ...из коих первые

представляются нам лордами, вторые благородными дворянами, третьи же йоменами среди собак», – пишет он в своей «Аркадии».

Но если отсюда и проистекает вывод, что спаниели, по примеру людей, смотрят на борзых снизу вверх, а гончих полагают низшими существами, то мы вынуждены признать, что их аристократизм зиждется на куда более существенных основах. С этим согласится всякий, кто изучит законы Клуба Спаниелей. В них незыблемо определяется, каким должен и каким не должен быть спаниель. Светлые глаза, например, не поощряются; кудрявые уши – еще нежелательней; родиться же со светлым носом и с вихром на голове – просто бесчестье. Столь же ясно определяются и достоинства спаниелей. Голова должна быть круглой, с мягкой линией перехода от лба к носу, череп – развитой и вместительный, глаза большие, но не нависают; общее выражение должно свидетельствовать о чуткости и уме. Спаниель, наделенный этими качествами, всячески превозносится и увековечивается в потомстве; спаниеля же, способного насаждать одни вихры да светлые носы, лишают его наследственных привилегий. Так судьи устанавливают закон и соответственно определяют награды и кары, которые обеспечат его соблюдение.

А теперь обратимся к человеческому обществу – и какой же мы обнаружим тут хаос, какую досадную неразбериху! Нет вообще никакого клуба, ведающего выводением человеческих особей. Геральдическая палата более других заведений приближается к Клубу Спаниелей. В ней хоть делаются попытки сохранить чистоту человеческой породы. Правда, покуда вы задаетесь вопросом, в чем же состоит истинное благородство – глаза у вас должны ли быть светлыми или темными, уши – кудрявыми или нет и позорен ли вихор, – судьи просто-напросто отсылают вас к вашему гербу. Предположим, герба у вас не имеется. Тогда вы никто. Но стоит вам обосновать притязания на шестнадцать четвертей гербового поля, обзавестись правом на корону пэров, и тотчас окажется, что вы не просто родились, но родились в благородной семье. И вот ни один пирожник в Мэйфере не обходится без лежащего льва либо вздыбленной русалки. Торговец льняным полотном и тот спешит вывесить герб у себя на дверях, чтобы мы могли спать на его простынях совершенно спокойно. Кто только не заявляет и не получает аристократических прав! Однако если мы обратимся к судьбе королевских домов – Бурбонов, Габсбургов и Гогенцоллернов, со всеми их коронами и полями, со всеми львами и леопардами, вздыбленными и лежащими, и найдем их ныне в изгнании, в безвластии и небрежении, нам останется лишь покачать головой и признать, что в Клубе Спаниелей судят куда точнее. Придя неизбежно к такому выводу, мы отвлечемся наконец от этих высоких материй и перейдем к ранней юности Флаша в лоне семейства Митфордов.

В конце восемнадцатого столетия отпрыски славного рода спаниелей жили близ Рединга, в доме некоего доктора Мидфорда, или Митфорда. Сей джентльмен, в полном согласии с канонами геральдической палаты, предпочел писать имя свое через букву «т», выводя, таким образом, свое происхождение от нортамбергского семейства Митфордов из Бертрамского Замка. Жена его была урожденная Рассел и приходилась отдаленно, зато неоспоримо, сродни герцогам Бедфордам. Меж тем предки самого доктора Митфорда, брачуясь, так постыдно небрегли всеми правилами, что никакой бы судья ни за что не признал в нем породы и не дал бы ему разрешения размножаться. У него были светлые глаза; кудрявые уши; на голове торчал роковой вихор. Иначе говоря – он был бессовестный эгоист, неискренен, суетен, мот и вдобавок неисправимый картежник. Он промотал собственное состояние, состояние жены и дочерние заработки. Ласкаемый фортуной, он бросил обеих; сев на мель, сделался у них прихлебателем. Двумя достоинствами он обладал несомненно: был дивно хорош собой – истинный Аполлон, покуда пьянство и другие излишества не сделали из него Вакха, и – он очень любил собак. Однако, вне всяких сомнений, существуй на свете Клуб Людей наподобие Клуба Спаниелей, никакая буква «т» вместо «д» в фамилии Митфорд, никакие притязания на знатность не отвели бы от него бесчестья, позора, осуждения, его

непременно изгнали бы из общества и заклеили как сукиного сына, который не вправе продолжать свой род. Но был он человек. И оттого ничто не препятствовало ему жениться на девушке благородного рожденья и воспитания, дожить до восьмидесяти с лишним лет, владеть многими поколениями борзых и спаниелей и произвести на свет дочь.

Терпят неудачу все попытки установить точный год рождения Флаша, не говоря уже о месяце и числе; но, вероятно, он родился в первой половине 1842 года. Вероятно далее, что он происходил по прямой линии от Трэя (ок. 1816 г.), чьи качества, подтверждаемые, к сожалению, лишь зыбкими свидетельствами поэзии, позволяют считать его рыжим кокер-спаниелем высоких заслуг. Есть все основания полагать далее, что он сын того «настоящего старого кокера», ради которого доктор Митфорд расстался с двадцатью гинеями, ибо он был «уж очень славный охотник». Сколько-нибудь полное описание самого Флаша в юности мы находим, увы, только в той же поэзии. Шерсть его была того особенного темного тона, который на солнце весь «во вспышках золотых». Глаза у него были «карие и взор ошеломленный». Уши «украшены кистями», «стройные ноги» «все в пушистой бахrome», и у него был пышный хвост. С некоторой поправкой на жертвы, приносимые ради рифмы, и поэтическую невнятицу, эта аттестация не могла бы не вызвать одобрения в Клубе Спаниелей. У нас нет сомнений, что Флаш был чистокровный рыжий кокер, обладавший всеми совершенствами, присущими его породе.

Первые месяцы жизни Флаша протекли на Третьей Миле, в бедном домике подле Рединга. А поскольку дела у Митфордов шли скверно – Керренхэппок была единственной служанкой; мисс Митфорд своими руками обивала кресла, и притом самой плохонькой тканью; главным предметом обстановки был, кажется, большой стол; главным помещением большая теплица, – то и Флаш едва ли мог наслаждаться той роскошью (теплая конура, асфальтовые дорожки, мальчик или девочка в собственном распоряжении), на какую ныне вправе притязать пес его ранга. Он, однако, благоденствовал, со всей живостью своей натуры он предавался большинству удовольствий и некоторым вольностям, естественным для его пола и возраста. Мисс Митфорд, правда, подолгу сидела дома. Ей приходилось часами читать отцу вслух, потом играть в карты, потом, когда он наконец погружался в дремоту, – писать, писать и писать в теплице за столиком, в надежде оплатить счета и свести концы с концами. Но вот наставал долгожданный миг. Она отодвигала бумаги, нахлобучивала шляпу, брала в руку зонтик и отправлялась в поля с собаками. Спаниели и вообще-то чутки; Флаш, как доказывает его биография, был даже особенно чуток к человеческим переживаниям. Видя, как любимая хозяйка наконец жадно глотает ветерок, который треплет ей белые волосы и румянит и без того румяные щеки, а морщины на высоком лбу меж тем расправляются сами собой, он пускался по полю дикими прыжками, неистовство которых отчасти объяснялось ее удовольствием. Она пробиралась по высокой траве, а он носился кругами, шумно вспарывая зеленый занавес. Прохладные шарики дождя и росы разлетались фонтанами вокруг его носа; земля, то твердая, то нежная, то жаркая, то прохладная, колола, царапала и щекотала нежные лапы. А какие запахи в сложнейшем хитросплетенье ударяли ему в ноздри; крепкий дух земли; сладкий дух цветов; дурманящий дух листвы и кустарника; прелый дух, когда переходили через дорогу; едкий дух, когда вступали на бобовое поле. Но вдруг ветер нес душераздирающий запах – крепче, сильнее, мучительней всех других, – запах, врывавшийся в его сознание и будивший тысячи забытых инстинктов, миллионы воспоминаний, – запах зайца, запах лисицы. И Флаш мчался, как рыба, подхваченная потоком, – дальше, дальше. Он забывал свою хозяйку; он забывал весь род человеческий. Он слышал крики темнолицых горцев: «Спан! Спан!» Он слышал свист хлыста. Он несся, он мчался. Наконец, растерянный, он останавливался; чары развеивались; очень медленно, кротко виляя хвостом, он трусил полями к тому месту, где стояла мисс Митфорд, кричала: «Флаш! Флаш!» – и размахивала зонтиком. Но однажды по крайней мере он услышал зов еще

более властный; охотничий рог разбудил еще более глубокие инстинкты, всколыхнул еще более сильные чувства, так что все воспоминания, и трава, и деревья, и кролики, и лисицы, и зайцы – все слилось и забылось в диком вопле восторга. Свой факел зажгла любовь; он услышал охотничий рог Венеры. Еще почти щенок, Флаш стал отцом.

Такой поступок даже и со стороны мужчины в 1842 году нуждался бы в оправданиях биографа; женщине же вообще не было бы оправданий; имя ее с позором вымарали бы со страницы. Но собачий моральный кодекс – хуже ли он, лучше ли – отличен от нашего, и в поведении Флаша, соответственно, ничего не было такого, что нуждалось бы в утайке теперь или сделало бы его недостойным общества самых чистых и целомудренных в те времена. А именно, есть свидетельство, что старший брат доктора Пьюзи намеревался его купить. И – судя о неизвестном характере этого старшего брата по хорошо известному характеру доктора Пьюзи – были, значит, во Флаше серьезность и основательность, обещавшие в будущем многое, невзирая на его юную ветреность. Но еще красноречивей свидетельствует о его привлекательности то обстоятельство, что, несмотря на намерение мистера Пьюзи купить Флаша, мисс Митфорд отказалась его продать. Она ломала голову, как бы раздобыть денег, не знала, какую бы еще сочинить ей историческую трагедию, какой ежегодник издать, и прибегала к ненавистному выходу, прося помощи у друзей, так что, разумеется, ей нелегко было отвергнуть сумму, предлагаемую мистером Пьюзи. Двадцать фунтов были выложены за отца Флаша. Мисс Митфорд вполне могла бы попросить за Флаша десять или пятнадцать. Десять или пятнадцать фунтов были царственной суммой, суммой, которая дивно выручила бы ее. Имея десять или пятнадцать фунтов, она могла бы заново обить кресла, могла бы привести в порядок теплицу, она могла обновить весь свой гардероб, а ведь «...я не покупала ни шляпы, ни пальто, ни платья и с трудом могла себе позволить пару перчаток, – писала она в 1842 году, – в течение четырех лет».

Но продать Флаша было нельзя, немыслимо. Он был из редкого класса вещей, несовместных с деньгами. Кто знает, он был, возможно, даже из еще более редкого рода вещей, которые, воплощая все высокое и бесценное, могут стать прекрасным знаком бескорыстной дружбы; и почему бы не подарить его тогда подруге, если уж тебе привелось ее иметь, и не просто подруге, а чуть не дочери; подруге, все лето проводящей в четырех стенах на Уимпол-стрит; и не кому-нибудь, а первой поэтессе Англии, блистательной, обожаемой, обреченной, самой Элизабет Барретт? Такие мысли все чаще приходили в голову мисс Митфорд, пока она смотрела, как Флаш носится и валяется по траве, пока она сидела у постели мисс Барретт в затененной плющом темной лондонской спальне. Да, Флаш был достоин мисс Барретт. Мисс Барретт была достойна Флаша. Жертва великая. Но ее следовало принести. И вот однажды, вероятно в начале лета 1842 года, на Уимпол-стрит можно было наблюдать странную пару: очень низенькая, плотная, бедно одетая пожилая дама с ярким румянцем и яркой сединой вела на поводке очень резвого, очень любопытного, очень породистого и юного золотистого кокер-спаниеля. Они проследовали почти до самого конца улицы и перед пятидесятым номером они остановились. Не без трепета мисс Митфорд дернула дверной колокольчик.

И сейчас еще, конечно, никто никогда не дернет без трепета дверной колокольчик на Уимпол-стрит. Из лондонских улиц она самая величавая, самая невозмутимая. Право, едва вам покажется, будто мир вот-вот рухнет и, чего доброго, пошатнется цивилизация, скорее идите на Уимпол-стрит; прогуляйтесь по этой улице; взгляните в эти дома; подумайте об их неразличимости; насладитесь неколебимостью гардин; полюбуйтесь нерушимым, медноблестящим порядком дверных колец; вникните в то, как мясники предлагают, а повара выбирают разделанные куски мяса; прикиньте доходы жителей и, соответственно, их подвластность законам божеским и человеческим – всего-то и надо вам тогда пойти на Уимпол-стрит, полной грудью вдохнуть разлитого там державного покоя, и тотчас вы испустите

глубокий вздох облегчения, что Коринф вот погиб и рухнула Мессина, миновали царства и распались древние империи, а Уимпол-стрит стоит на месте, и, сворачивая с Уимпол-стрит на Оксфорд-стрит, вы уже молитесь горячо и чуть не вслух, чтобы ни единый кирпичик не подшлифовали заново на Уимпол-стрит, чтобы ни единую гардину не выстирали и ни один мясник чтоб не забыл предложить, а повар выбрать оковалок, грудинку, филей, будь то говяжий или бараний, ныне и присно и во веки веков, ибо, покуда стоит Уимпол-стрит, цивилизации ничто не угрожает.

Дворецкие на Уимпол-стрит и сейчас степенны; летом же 1842 года они двигались еще неспешней. Честь мундира еще строже соблюдалась; серебро чистили в фартуке зеленого сукна; дверь вам отворяли в полосатом жилете и черном фраке – не иначе. Возможно, мисс Митфорд и Флаша протомили на пороге даже и три с половиной минуты. Наконец, однако, дверь пятидесятого нумера распахнулась; мисс Митфорд и Флаша пригласили войти. Мисс Митфорд была тут частой гостьей. Семейный очаг Барреттов разве что несколько подавлял, но уже ничем не мог ее удивить. Зато Флаш, конечно, совершенно изумился. До сих пор он не заходил ни к кому, кроме работника на Третьей Миле. У того в доме были голые доски, рваные половики, дешевые стулья. Здесь же ничего не было голого, ничего рваного, ничего дешевого – это Флаш заметил с первого взгляда. Мистер Барретт, хозяин, был богатый негодичант; у него была большая семья, взрослые сыновья и дочери, и, соответственно, большой штат прислуги. Дом свой он обставил по моде конца тридцатых годов, чуть-чуть ее сдобрив восточным вкусом, которым он руководился, когда особняк свой в Шропшире украсил мавританскими башенками и минаретами. Здесь, на Уимпол-стрит, такие вольности не допускались; зато уж, надо полагать, в высоких темных комнатах царили оттоманки и резное черное дерево; столы на витых ножках; и уставленные притом филигранью; на темно-вишневых стенах висели мечи и кинжалы; всякие редкости, вывезенные мистером Барреттом из Вест-Индии, толпились в нишах, и пушистые ковры устилали повсюду пол.

Флаш, однако, трусая за мисс Митфорд, которая шла за дворецким, дивился не столько тому, что он видел, сколько тому, что он чуял. Над лестницей порхали ароматы тушеного мяса, жареной дичи и кипящих супов, чуть ли не более самой еды обворожительные для того, кто привык к весьма скромным запахам скудного рагу и гуляша в исполнении Керенх-эппок. К запахам еды примешивались еще запахи – запах черного дерева, и сандала, и красного дерева; запах мужских тел и женских; слуг и служанок; сюртуков и брюк; мантилек и кринолинов; гобеленовых занавесей; плюшевых занавесей; угольной пыли и дыма; вина и сигар. Каждая комната, когда он проходил мимо – столовая, гостиная, библиотека, спальня, – чего-то добавляла к букету; а тем временем томный ворс ковров жадно ласкал и нежно удерживал его лапы. Наконец они очутились перед закрытой дверью в глубине дома. И на тихий стук тихо отворилась дверь.

Спальню мисс Барретт – ибо она это и была – держали всегда в темноте. Свет, обычно приглушенный занавесом из зеленой камки, летом еще более затенялся плющом, многоцветной фасолью, вьюнками и настурциями, которые росли на окне. Сперва Флаш не различил в бледно-зеленом сумраке ничего, кроме пяти загадочных и мерцающих, словно парящих шаров. Но здесь его снова ошеломил запах. Лишь ученый, который ступень за ступенью спускался по мавзолею и вдруг очутился в склепе, поросшем мхом, склизком от плесени, пропитанном кисловатым духом веков и тлена, и вот ничего не различает в тусклом свете своей лампы, кроме тающих, словно парящих, мраморных битых бюстов, и гнется и тянет шею, чтоб получше их разглядеть, – лишь такой ученый под сводами склепа в разрушенном городе мог бы понять всю силу чувств, охвативших Флаша, когда он впервые очутился в спальне больной и вдохнул запах одеколона.

Очень медленно, очень смутно, с помощью носа и лап, Флаш выделял очертанья предметов, заполнивших комнату. Это огромное, возле окна, был, надо думать, шкаф. Рядом

стоял, очевидно, комод. Посредине, на гладь пола, всплыл, кажется, стол, обведенный каким-то кругом, а потом вырисовывались еще неясные образы кресла и тоже стола. Но вещи здесь не были просто собою. Все подо что-то маскировалось. Шкаф захватили три белых бюста; комод оседлала книжная полка; полка была обита малиновым мериносом; умывальник венчался полочками; полочки венчались еще двумя бюстами. Ничто в этой комнате не желало быть только собою. Все принимало личины. Даже оконные шторы не были попросту шторами. Были они из чего-то такого раскрашенного^{1}, и на них были замки, и ворота, и рощи, и крестьяне прогуливались по ним. Зеркала вносили еще большую путаницу, и получалось, что здесь не пять бюстов пяти поэтов, а уже их взялось откуда-то десять, и столов здесь было не два, а четыре. Но вдруг Флаш столкнулся с вовсе уж поразительной несуразностью. Из дыры в стене на него, дрожа языком, блестя глазами, смотрел – другой пес! Изумленный, он остановился. Он приблизился с трепетом.

Так приближаясь, так прядая назад, Флаш едва слышал шелест и плеск разговора, будто гул ветра в дальних вершинах дубов. Он продолжал свои разыскания осторожно, сдерживаясь, как осторожно ступает путник по дремучему лесу, не зная, не лев ли – эта тень перед ним и не кобра ли – этот корень? Но вот он заметил, что над ним двигают что-то огромное, и у него наконец сдали нервы, и, дрожа, он забился за ширму. Голоса смолкли. Дверь захлопнулась. На секунду он замер – опустошенный, разбитый. И вдруг – будто острые тигриные когти впились в него – и сразу он вспомнил. Он понял, что он один – он брошен. Он метнулся к двери. Дверь была закрыта. Он скребся, он вслушивался. Он слышал, как по лестнице спускается кто-то. Он узнал шаги своей хозяйки. Вот она остановилась. Но нет, пошла – вниз, вниз. Мисс Митфорд очень медленно, очень тяжело, очень трудно спускалась по лестнице. Он слышал, как замирают ее шаги, и его охватил ужас. Одна за другою хлопали двери, пока мисс Митфорд спускалась по лестнице, навсегда отделяя его от воли; полей; от зайцев; травы; от любимой, обожаемой хозяйки – милой старой женщины, которая мыла его, и наказывала, и кормила его со своей тарелки, хотя ей и самой не всегда удавалось сытно поесть, – от всего, что узнал он о счастье, любви, о доброте человеческой! Вот! Хлопнула дверь парадного. Он остался один. Она его бросила.

И такое отчаяние его охватило, такая нашла на него тоска, так поразила его безжалостность и неотвратимость рока, что он поднял голову и громко завыл. Голос позвал: «Флаш!» Он не услышал. «Флаш!» – повторил голос. Он вздрогнул. Он-то думал, что он здесь один. Он повернулся. Значит, в комнате есть еще кто-то? Что это там, на кушетке? В безумной надежде, что существо это, кем бы ни оказалось оно, откроет ему дверь и он кинется следом за мисс Митфорд и найдет ее, что это просто игра в прятки, как, бывало, дома, в теплице, – Флаш метнулся к кушетке.

– Ох, Флаш! – сказала мисс Барретт. Впервые она посмотрела ему в глаза. Впервые Флаш увидел леди, лежавшую на кушетке.

Оба удивились. Тяжелые локоны обрамляли лицо мисс Барретт; большие яркие глаза сияли на этом лице; улыбался большой рот. Тяжелые уши обрамляли физиономию Флаша; глаза у него тоже были большие и яркие: и рот был большой. Они были очень похожи. Глядя друг на друга, оба подумали: «Да это же я!» И сразу потом: «Но какая, однако же, разница!» У нее было истомленное, больное лицо, бледное от недостатка света, воли и воздуха. У него – бодрая, цветущая мордочка юного, резвого, веселого зверя. Расколотые надвое, но вылитые в одной форме – не дополняли ли они тайно друг друга? И в ней заложено – это все? А он? Но нет. Их разделяла самая глубокая пропасть, какая только мыслима между двумя существами.

^{1} Были они из чего-то такого раскрашенного... – Мисс Барретт пишет: «У меня в открытом окне прозрачные шторы». И прибавляет: «Папа меня корит сходством с лавкой готового платья, однако ж ему самому положительно нравится, когда замок вспыхивает на солнце». Одни полагают, что замок и прочее были нарисованы на тонкой металлической основе; другие – что это были муслиновые занавески, все в вышивке. Установить истину с точностью едва ли возможно.

Она была говорящая. Он – нем. Она была женщина. Он – пес. Так, нерасторжимо связанные и бесконечно отъединенные, смотрели они друг на друга. Потом один прыжок – и Флаш очутился на кушетке и улегся там, где ему отныне предстояло лежать, – на коврике у ног мисс Барретт.

Глава вторая. В СПАЛЬНЕ

Лето 1842 года, говорят нам историки, не запомнилось ничем необычайным, но для Флаша оно оказалось до того необычайным, что впору было испугаться, не перевернулся ли мир. Это было лето, проведенное в спальне; лето с мисс Барретт. Лето в Лондоне; в центре цивилизации. Сперва он не видел ничего, кроме спальни и мебели в спальне, но все равно голова у него шла кругом. Оpoznать, различить и назвать по именам все непонятные предметы, которые он видел, само по себе было ужасно трудно. И он еще не успел освоиться со столом, и с бюстами, и с умывальником, и запах одеколона еще надрывал ему ноздри, когда настал один из тех редкостных дней – ясный, но не ветреный, теплый, но не знойной, сухой, но не пыльный, – когда и больной можно подышать воздухом. День, когда мисс Барретт вполне могла решиться на смелое приключение – отправиться за покупками со своей сестрой.

Вызвали карету; мисс Барретт встала с кушетки; укутанная и обмотанная, она спустилась по лестнице. Флаш, разумеется, отправился вместе с ней. Он прыгнул следом за нею в карету. Он лежал у нее на коленях, и пышный Лондон во всем великолепии представлял его изумленному взору. Они ехали по Оксфорд-стрит. Он видел дома, состоящие почти целиком из стекла. Видел витрины, разукрашенные сверканьем выпелов; ломящиеся от розового, лилового, красного, желтого блеска. Карета остановилась. Он ступил под таинственные своды, в колышущееся цветное море кисеи. До самых глубин его пронизали несчетные смутные ароматы Аравии и Китая. Яркие вспыхивали над прилавками нежные ярды порхающего шелка; темней, неспешней – тяжелый разворачивался бомбазин. Прощелкали ножницы; блеснули монеты; прошелестела бумага; закрепилась бечевка. И от качанья перьев, от реющих выпелов, танцующих лошадей, желтых ливрей, проплывающих мимо лиц Флаш так утомился, что рухнул, и уснул, и видел сны, и опомнился только тогда, когда его подняли с сиденья кареты и дверь на Уимпол-стрит снова затворилась за ним.

Но назавтра держалась ясная погода, и мисс Барретт отважилась на еще более дерзкое предприятие – она отправилась гулять в инвалидном кресле по Уимпол-стрит. И снова Флаш ее сопровождал. Впервые услышал он, как цокают его когти по звонким лондонским плитам. Впервые все запахи жаркого лондонского лета залпом ударили ему в ноздри. Он вдыхал обморочные запахи, прячущиеся в сточных желобах; горькие запахи, гложащие железные ограды; буйные, неумные запахи, поднимающиеся из подвалов, – запахи, куда более изощренные, нечистые и коварные, чем те, которые он вдыхал в полях под Редингом; запахи совершенно недоступные для человеческого нюха; и в то время как кресло спокойно катилось дальше, он останавливался оторопев; и внюхивался, и наслаждался, пока его не оттащивали за поводок. Вдобавок, труся по Уимпол-стрит за креслом мисс Барретт, он совершенно растерялся от мельканья прохожих. Морду ему оведали юбками; задевали брюками по бокам; иной раз колесо мелькало всего в каком-нибудь дюйме от его носа; воющим ветром погибели дохнуло ему в уши и вздыбило очесы на лапах, когда мимо прогрохал фургон. И он рванулся с поводка. Слава Богу, ошейник впился ему в шею; мисс Барретт крепко его держала, не то он бросился б навстречу погибели.

Наконец, обмирая от нетерпения и восторга, он очутился в Риджентс-парке. И вот когда он снова, будто после долгих лет разлуки, увидел траву, и деревья, и цветы, древний охотничий зов полей отозвался у него в ушах, и он понесся вперед, как он носился в родных полях. И снова ошейник впился ему в горло, его оттянули назад. Но разве это не трава, не деревья? – спрашивал он. Разве это не знаки свободы? Он же всегда опрометью несся вперед, как только мисс Митфорд выходила гулять, ведь правда? Почему же здесь он невольник? Он

замер. Здесь, он заметил, цветы стояли гораздо теснее, чем дома; они жались друг к другу на тесных деланках.

Делянки пересекались твердыми черными тропками. Люди в блестящих цилиндрах грозно вышагивали по тропкам. Завидя их, он теснее прижался к креслу. И уже после нескольких таких прогулок он постиг очень важную истину. Сопоставляя одно с другим, он пришел к умозаключению. Там, где есть клумбы, есть и асфальтовые тропки; где есть клумбы и асфальтовые тропки, есть люди в блестящих цилиндрах; там, где есть клумбы, и асфальтовые тропки, и люди в блестящих цилиндрах, собаки должны ходить только на цепи. Не умея прочесть ни единого слова на табличке у входа, он тем не менее понял – в Риджентс-парке собаки должны ходить только на цепи.

И к этим зачаткам познаний, почерпнутым из странного опыта летом 1842 года, скоро прибавилось еще кое-что: собаки, оказывается, не равны, они неравноправны. На Третьей Миле Флаш без зазрения совести общался с дворнягой из кабака и с помещичьими борзыми; он не, делал различия между собой и собачонкой лудильщика. Возможно даже, мать его щенка, без родословной произведенная в спаниельство, была всего лишь дворняга, ибо уши у нее никак не отвечали хвосту. Но лондонские собаки, скоро понял Флаш, были строго разделены на классы. Одни ходили на поводках; другие рыскали сами по себе. Одни прогуливались в каретах и пили из красных мисочек; другие, помятые, без ошейников, добывали себе пропитание в сточных канавах. Стало быть, начал прозревать Флаш, собаки неравны; одни высокого происхождения, другие низкого; и догадки его подтверждались, когда, проходя по Уимпол-стрит, он слышал обрывки собачьих бесед: «Видал субчика? Ну дворняга!.. Что ты, благороднейший спаниель. Голубая кровь!.. Этому уши бы еще чуть покудрявей!.. Поздравляю – вихор!»

Из этих фраз и по интонации хвалы или хулы, с которой они произносились у почты ли или у кабака, где лакеи совещались о ставках на дерби, Флаш еще до наступления осени понял, что между собаками нет равенства, что есть собаки низкого и есть собаки высокого происхождения. Но кто же тогда он сам? И не успел Флаш вернуться домой, он тотчас, приосанясь, стал придирчиво изучать себя в зеркале. Слава благим небесам, он чистокровный породистый пес! Голова у него гладкая; глаза круглые, но не навывкате; у него очесы на лапах; он ни в чем не уступит самому благородному кокеру на всей Уимпол-стрит. Вдобавок он пьет из красной мисочки. Да, таковы привилегии знатности. Он затихает покорно, когда на ошейнике укрепляют карабин поводка, – таково ее бремя. Как-то мисс Барретт, увидев его перед зеркалом, ошиблась на его счет. Он философ, решила она, размышляющий о несоответствии между сущим и видимым. Совершенно напротив, он был аристократ, оценивающий собственные достоинства.

Но скоро кончились теплые летние дни; задули осенние ветры; мисс Барретт уже не выходила из затворничества своей спальни. Жизнь Флаша тоже переменялась. Воспитание на свежем воздухе сменилось воспитанием в четырех стенах, а это для пса с темпераментом Флаша было ужасно мучительно. Жалкие выходы его, краткие и лишь по неотложной надобности, совершались отныне в обществе Уилсон, горничной мисс Барретт. Остальное время он проводил на кушетке у ног мисс Барретт. Все словно сговорилось против его природы и склонностей. В прошлом году, когда задули осенние ветры, он как сумасшедший носился по жнивью; теперь, когда плющ стучал по стеклам, мисс Барретт просила Уилсон проверить, хорошо ли заперты окна. Желтели и осыпались в оконных ящиках листья настурций и многоцветной фасоли, и мисс Барретт плотнее куталась в индийскую шаль. Октябрьский дождь стучал по стеклам, и Уилсон разводила огонь в камине и подсыпала туда угля. Потом осень перешла в зиму, и в воздухе разлилась желчь первых туманов. Уилсон и Флаш с трудом пробирались к почтовой тумбе и к аптеке. Когда они возвращались, в комнате ничего уже было не различить, только бюсты бледно мерцали над шкафом; крестьяне и замки исчезали

со шторок; в окнах стояла желтая пустота. Флашу казалось, что он и мисс Барретт живут в одинокой пещере среди подушек и греются у костра. За окном непрестанно жужжала и глухо урчала улица. Порою голос хрипло зывал: «Чиню старые стулья, корзины!», а то раздавались взвизги шарманки, приближаясь, делались громче и, удаляясь, стихали. Но ни один из этих звуков не звал к свободе, движению, деятельности. Ветер и дождь, ненастные дни осени и холодные зимние дни – все они значили для Флаша одно: тишь и тепло; зажигались лампы, задергивались занавеси, и кочерга ворошила угли в камине.

Сначала ему было невольно. Он не сдержался и стал носиться по комнате как-то ветреным осенним днем, когда по жнивью, конечно, рассыпались куропатки. В ветре чудились ему звуки выстрелов. Он бросался к двери со вздыбленной холкой, когда на улице кто-то лаял. Но мисс Барретт окликала его и клала руку ему на ошейник, и тогда совсем новое чувство – он не мог отрицать, – неодолимое, странное, неловкое (он не знал, как назвать его и почему он ему подчинялся) удерживало его. Он тихо ложился у ее ног. Смиряться, превозмогать себя, преодолевать самые пылкие свои порывы – таков был главный урок, затверженный им в спальне, урок такой невероятной трудности, что иным филологам куда легче выучить греческий, а иным генералам и половины усилий не стоит выиграть битву. Но ведь ему-то преподавала мисс Барретт. Меж ними, чувствовал Флаш, от недели к неделе крепла связь, обременительная, блаженная близость; и если его радость причиняла ей боль, то уже радость была ему не в радость, а была на три четверти болью. Эта истина день ото дня получала новые подтверждения. Вот кто-нибудь открывал дверь и свистал Флаша. Почему бы не выйти? Он мечтал о прогулке; лапы у него затекали от лежания на кушетке. Он так и не примирился с запахом одеколона. Но нет – хоть дверь стояла открытая, он не мог бросить мисс Барретт. Он шел к двери, на полпути медлил и возвращался. «Флаш, – писала мисс Барретт, – мой друг, мой преданный друг. Я для него важнее, чем свет в окошке». Она не могла выходить на улицу. Она была прикована к кушетке. «Птичка в клетке, – писала она, – вполне бы меня поняла». А Флаш, когда открывался вольный мир, жертвовал всеми запахами Уимпол-стрит, чтоб только лежать у ее ног.

Однако порою связь чуть не порывалась; вдруг им не хватало взаимопониманья. Тогда они лежали и смотрели друг на друга, совершенно недоумевая. Почему, удивлялась мисс Барретт, Флаш ни с того ни с сего вздрагивает, и скулит, и прислушивается? Она ничего не слышала; она ничего не видела; в комнате, кроме них, не было никого. Ей было невдомек, что Фолли, болоночка ее сестры, прошла за дверью; что лакей в первом этаже кормит Каталину, кубинскую ищейку, бараньей костью. А Флаш это знал; он все слышал; его раздирали попеременно то возжеленье, то алчность. И со всем своим поэтическим воображением мисс Барретт не могла угадать, что значил для Флаша мокрый зонтик Уилсон; какие он будил в нем воспоминания о лесах, попугаях, о трубных кличах слонов; и того не поняла она, когда мистер Кеньон зацепился за шнур колокольчика, что Флаш услышал проклятья темнолицых горцев; что крик «Спаи! Спан!» отдался у него в ушах, и глухая наследственная ненависть заставила его укусить мистера Кеньона.

Точно так же Флаша порою ставило в тупик поведение мисс Барретт. Она часами лежала и водила по белому листу бумаги черной палочкой, и вот глаза ее вдруг наполнялись слезами; но отчего? «Ах, милый мистер Хорн, – писала она, – здоровье мое пошатнулось... а потом эта ссылка в Торкви... превратившая жизнь мою навеки в ночной кошмар и лишившая меня того, о чем и рассказать нельзя; никому не говорите об этом. Не говорите об этом, милый мистер Хорн». Но в комнате не было ни звуков, ни запахов, которые могли бы вызвать слезы мисс Барретт. А то, водя этой своей палочкой по бумаге, мисс Барретт вдруг разразилась смехом. Она нарисовала «очень точный и выразительный портрет Флаша, который забавно воспроизводит мои черты, и если, – написала она далее, уже под портретом, – он не может вполне сойти за мой собственный, то лишь оттого, что я не вправе притязать на

эти совершенства». Ну и что смешного было в черной кляксе, которую она совала под нос Флашу? Он ничего не учуял; ничего не услышал. В комнате, кроме них, не было никого. Да, они не могли объясняться с помощью слов, и это, бесспорно, вело к недоразумениям. Но не вело ли это и к особенной близости? «Писание, – как-то воскликнула мисс Барретт после утренних трудов, – писание, писание...» «В конце концов, – наверное, подумала она, – все ли выражают слова? Да и что слова могут выразить? Не разрушают ли слова неназываемый, им неподвластный образ?» Однажды, по крайней мере, мисс Барретт, уж верно, пришла к этому умозаключению. Она лежала, думала; она совершенно забыла про Флаша, и мысли ее были так печальны, что слезы катились из глаз и капали на подушку. И вдруг косматая голова к ней прижалась; большие сияющие глаза отразились в ее глазах; и она вздрогнула. Флаш это – или Пан? А сама она, бедная затворница Уимпол-стрит, не стала ли вдруг греческой нимфой в темном гроте Аркадии? И не прижался ли сам бородатый бог устами к ее устам? На миг она преобразилась; она была нимфа, и Флаш был – Пан. Горело солнце, пылала любовь. Но, положим, Флаш, вдруг обрел бы дар речи, разве сумел бы он сказать что-нибудь умное о картофельной болезни в Ирландии?

Флаша тоже волновали странные порывы. Он смотрел, как тонкие руки мисс Барретт нежно поднимают шкатулку либо ожерелье со столика, и мохнатые его лапы словно сжимались, он мечтал о том, чтоб они тоже оканчивались десятью отдельными пальцами. Он вслушивался в ее низкий голос, скандирующий бесчисленные слоги, и он мечтал о том дне, когда собственный его грубый рев вдруг обратится в ясные звуки, полные тайных значений. А когда он следил, как эти самые ее пальцы вечно водят прямой палочкой по белой странице, он мечтал о том времени, когда он тоже научится не хуже ее мараить бумагу.

Да, но сумел ли бы он писать так, как она?

К счастью, вопрос совершенно праздный, ибо в интересах истины мы вынуждены признать, что в 1842–1843 годах мисс Барретт была никак не нимфой, но бедной больной; Флаш не был поэтом, а был рыжим кокер-спаниелем; Уимпол-стрит была не Аркадией, а была Уимпол-стрит.

Так текли долгие часы в спальне, не отмеренные ничем; только звуком шагов на лестнице; и дальним звуком захлопнутой двери парадного; и звуком метущей швабры; да еще стуком почтальона. В комнате потрескивали угли; свет и тень напользали по очереди на лбы пяти бледных поэтов, на полку, на малиновый меринос. Но случалось, шаги не проходили мимо по лестнице; они затихали под дверью. Видно было, как поворачивается ручка; и правда, дверь открывалась; кто-нибудь входил. И как удивительно сразу менялась комната! Какие взметались вихри немислимых звуков и запахов. Как омывали они ножки стола и ударялись об острые углы шкафа! Это могла оказаться Уилсон с едой на подносе или с лекарством в пузырьке; или одна из сестер мисс Барретт – Арабелл или Генриетта; мог это оказаться и один из семи ее братьев – Чарльз, Сэмюел, Джордж, Генри, Альфред, Септимус или Октавиус. Но два или три раза в неделю Флаш чувствовал, что готовится нечто более важное. Постели тщательно придавали вид кушетки. К ней придвигали кресло; мисс Барретт живописно куталась в индийскую шаль; гребенки и пилочки бережно укрывали за бюстами Чосера и Гомера; самого Флаша аккуратно расчесывали. Часа в два или три пополудни раздавался иной, особенный, четкий стук в дверь. Мисс Барретт краснела, улыбалась, простирала руку. И входили – иногда милая мисс Митфорд, румяная, сияющая, разговорчивая – и с пучком герани. Или это оказывался мистер Кеньон, плотный, вальяжный пожилой господин, излучающий благожелательство и вооруженный книжкой. Иногда это была миссис Джеймсон, дама, внешне являвшая полную противоположность мистеру Кеньону, – дама «с очень бледным цветом лица – у нее бледные, прозрачные глаза; тонкие бесцветные губы... а нос и подбородок сильно выдаются вперед, но ширины зато не имеют». И у каждого была своя манера, запах, тон, голос. Мисс Митфорд болтала без умолку и – всегда впопыхах –

засиживалась дольше всех; мистер Кеньон был учтив, изыскан и слегка шепеляв по причине отсутствия двух передних зубов^[2]; у миссис Джеймсон зубы все были целы, а движения четки и рублены, как ее фразы.

Свернувшись калачиком у ног мисс Барретт, Флаш слушал, как журчат над ним голоса. Шел час за часом. Мисс Барретт смеялась, спорила, удивлялась, вздыхала и снова смеялась. Наконец, к великому облегчению Флаша, начинали перепадать паузы – даже в словесном потоке мисс Митфорд. Неужто семь уже? Она ведь тут с двух! Надо бежать, не то она опоздает на поезд. Мистер Кеньон захлопывал книгу – он читал ее вслух – и становился спиной к камину; миссис Джеймсон решительно, четко вправляла палец за пальцем в перчатку. И кто похлопывал Флаша по холке, кто трепал ему ухо. Прощание нестерпимо затягивалось, но в конце концов миссис Джеймсон, мистер Кеньон и даже мисс Митфорд вставали, отклонивались, что-то вспоминали, что-то теряли, что-то обнаруживали, достигали двери, открывали ее и – хвала небесам – наконец уходили.

Мисс Барретт, очень бледная, очень усталая, откидывалась на подушки. Флаш подползал к ней поближе. Слава Богу, они снова были одни. Но гость проторчал так долго, что уже настало время обеда. Снизу неслись запахи. В дверях появлялась Уилсон, неся на подносе обед для мисс Барретт. Поднос водружался на столик рядом с мисс Барретт, вспархивали салфеточки. Но от всех этих разговоров, приготовлений, от духоты в комнате и прощальных возгласов мисс Барретт так уставала, что не могла есть. Со вздохом оглядывала она сочную баранью отбивную, крылышко куропатки или цыпленка. Пока Уилсон была в комнате, она еще ковыряла их ножом и вилок. Но как только захлопывалась дверь, она делала знак. Она поднимала вилку. На вилку было насажено целое куриное крыло. Флаш приближался. Мисс Барретт кивала. Очень ловко, очень осторожно, не уронив ни кусочка, Флаш снимал крыло с вилки; проглатывал его без следа. Половина рисового пудинга в комьях густых сливок отправлялась туда же. Сотрудничество Флаша было плодотворно и незаменимо. Он лежал, как обычно, свернувшись калачиком у ног мисс Барретт, и, очевидно, дремал, мисс Барретт лежала, отдохнувшая и, по-видимому, подкрепленная сытным обедом, когда шаги, тяжелее, весомей и тверже всех прочих, останавливались у двери; раздавался важный стук, которым не спрашивали, можно ли, но возвещали намерение войти. Дверь открывалась, и на пороге являлся самый мрачный, самый страшный из всех пожилых людей – мистер Барретт собственной персоной. Глаза его тотчас останавливались на подносе. Съеден ли обед? Выполнен ли его приказ? Да, на тарелке ничего не осталось. Одобряя покорность дочери, мистер Барретт тяжело опускался в кресло с ней рядом. Когда эта темная масса надвигалась на него, по спине у Флаша от ужаса бежали мурашки. Так дрожит упрятавшийся в цветах дикарь, когда в грохоте грома он слышит глас божий. Уилсон свистала; виновато, крадущейся походкой, будто мистер Барретт мог прочесть его мысли, а мысли эти были дурные, Флаш выхо-

^[2] *Мистер Кеньон был... слегка шепеляв по причине отсутствия двух передних зубов.* – Здесь допущены некоторое преувеличение и натяжка. В основу положено свидетельство мисс Митфорд. Известно, что она сказала в беседе с мистером Хорном: «Наш милый друг, сами знаете, никого не видит, кроме домашних да еще двух-трех лиц. Она высоко ценит выразительное чтение и тонкий вкус мистера К. и просит его ей читать ее новые стихи... Так что мистер К. стоит на каминном коврике, поднимая манускрипт и голос, а друг наш – вся слух – лежит на кушетке, окутавшись индийской шалью, потупясь и склоняя длинные черные кудри. Теперь добрый мистер К. ли шил переднего зуба, правда, не совсем переднего, но почти переднего, а это, понимаете ли, влечет за собою неверную дикцию, приятную нечеткость, легкое скольжение и слияние слогов, так что порою столпы от толпы даже не отличишь». Едва ли можно усомниться, что мистер К. – не кто иной, как мистер Кеньон; причины конспирации – в особенной стыдливости викторианцев, когда речь идет о зубах. Но тут же встает и другая, более важная для английской литературы проблема. Мисс Барретт долго обвиняли в недостатке слуха. Мисс Митфорд утверждает, что скорей следует обвинять мистера Кеньона в недостатке зуба. С другой стороны, сама мисс Барретт утверждает, что рифмы ее никак не обусловлены ни дефектами его зубов, ни дефектами ее ушей. «Много внимания, – пишет она, – куда больше, чем потребовалось бы на поиски совершенно точных рифм, уделила я раздумьям над рифмой и хладнокровно решила пойти на кое-какие смелые опыты». Эти опыты нам известны. Решать, конечно, профессорам. Но, познакомясь с характером миссис Браунинг и ее поступками, всякий склонен будет заключить, что она своевольно нарушала правила и в творчестве, и в любви, а значит, тоже повинна в развитии современной поэзии.

дил из комнаты и кидался опрометью по лестнице вниз. В спальне водворялась сила, которой он страшился; сила, которой он не мог противостоять. Как-то он неожиданно ворвался в спальню. Мистер Барретт молился, стоя на коленях у постели дочери.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания